

УДК [821.161.1+821.581]:177

ЛИШНИЙ ЧЕЛОВЕК В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА

М.А. Зараковская

*Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
Республика Беларусь, zarakovskaya7@gmail.com*

В статье исследуется диахронная эволюция литературного типажа «лишнего человека» в русской и китайской прозе XIX–XXI вв. в контексте масштабных социальных и культурных трансформаций. На материале классических и современных произведений прослеживается изменение художественной функции образа.

Ключевые слова: «лишний человек»; сравнительный анализ; литературная типология; культурная адаптация; русская литература; китайская культура; эволюция героя.

Введение. Феномен «лишнего человека» давно перестал быть исключительно приметой русской классики XIX века. За более чем два столетия этот образ продемонстрировал удивительную типологическую устойчивость, последовательно адаптируясь к новым историческим условиям и культурным контекстам. Его эволюция от зеркала эпохи имперской стагнации до цифрового маргинала современности свидетельствует о том, что литературный типаж функционирует не как психологический портрет, а как чуткий индикатор социальных перемен. Особенно показательно в этом отношении параллельное развитие образа в русской и китайской литературах. Несмотря на различия в цивилизационных кодах, обе традиции выработали сходные художественные механизмы фиксации кризисов модернизации, идеологических сдвигов и трансформации индивидуального сознания. В русской прозе «лишний человек» традиционно связан с дисбалансом между интеллектуальным потенциалом и институциональной неповоротливостью общества, тогда как в китайской литературе образ 多余人 (*duōyú rén*) укоренён в конфликте традиционной социальной ответственности и просветительского разочарования. Тем не менее сквозная линия обеих традиций прослеживается в том, как литературный изгой становится зеркалом эпохальных катаклизмов: от кризисов XIX века через революционные и тоталитарные испытания XX столетия к гиперконкуренции и цифровизации современности.

Основная часть. Феномен «лишнего человека» утвердился в русском литературоведении не сразу как художественный тип, а первоначально как публицистическая и критическая формула, фиксирующая историко-социальный контекст эпохи. Терминальное оформление концепта принято связывать с названием повести И.С. Тургенева «Дневник лишнего человека» (1850), однако смысловое ядро было сформулировано ранее в публицистике В.Г. Белинского [1, с. 389]. Именно критик задал вектор осмысления этого типажа как результат «переходного времени», когда интеллектуальное пробуждение личности опережает возможности её социальной реализации. В 1840–1850-е годы формулировка «лишний человек» закрепляется в критическом дискурсе как обозначение дворянского интеллигента, чья ре-

флексивная активность не находит выхода в исторически обусловленных условиях крепостнической стагнации и институционального вакуума после декабристского восстания.

Важнейшим этапом концептуализации стала рецепция образа в радикальной критике 1860-х гг., прежде всего в трудах Д.И. Писарева [4, с. 5]. Смещая акцент с психологической рефлексии на социально-утилитарную оценку, Писарев и его последователи трансформировали «лишнего человека» из романтически-трагического героя в фигуру, подлежащую «разбору» с позиций общественной полезности. Именно в этот период происходит чёткая дифференциация концепта от смежных типов: «маленького человека» и «романтического бунтаря». «Лишний человек» оказывается принципиально иным феноменом: его драма заключается не в нехватке ресурсов или низком статусе, а в избытке сознания при отсутствии исторического субъекта действия.

К концу XIX века формула окончательно становится устойчивой типологической моделью. Литературоведы XX столетия (Л.Я. Гинзбург, Ю.М. Лотман) продемонстрировали, что данный тип функционирует не как психологический портрет, а как структурный элемент русского реалистического романа, отражающий специфику национальной модернизации [2, с. 144], [3, с. 399]. Ключевые параметры модели – дисбаланс между интеллектуальным потенциалом и социальной практикой, историческая «неуместность», стратегия пассивного сопротивления или самоиронии – позволяют рассматривать «лишнего человека» как диагностический маркер кризисных переходов. Именно эта типологическая устойчивость, сформированная в русской традиции, создаёт методологическую основу для последующего сравнения с китайским литературным контекстом, где аналогичный тип будет адаптирован к иным культурологическим кодам, но сохранит структурную структуру: рефлексия, оторванная от возможности реализации.

В китайском литературоведении концепт «лишнего человека» получил терминологическое закрепление значительно позже, чем в России, и изначально носил характер транснациональной адаптации. Термин 多余人 (duōyú rén) проник в китайский интеллектуальный дискурс в 1920–1930-е гг. благодаря активной рецепции русской классики интеллектуалами движения 4 мая. Ключевую роль в этом процессе сыграл Лу Синь, который, опираясь на переводы и критические статьи о тургеневских героях, увидел в русском типе инструмент для осмысления собственной культурной ситуации. Однако китайская рецепция не свелась к механическому копированию: «лишний» был переосмыслен через призму национального кризиса, утраты традиционных ориентиров и поиска новых форм социальной субъектности.

Локальная специфика китайского варианта типажа обусловлена глубоким влиянием конфуцианской этики и историей имперской экзаменационной системы кэцзюй. В традиционной культуре статус учёного-чиновника предполагал неразрывную связь между личным совершенствованием и служением государству. Отмена экзаменационной системы в 1905 году и последующий распад империи в 1911 году лишили этот социальный слой институциональной опоры, породив массовый феномен «образованного бездельника» – носителя знания, утратившего вектор применения. В отличие от русского аристократического рефлексора, китайский «лишний человек» чаще происходит из разорившейся интеллигенции или провинциального города, а его «избыточность» проистекает не из скуки привиле-

гированного класса, а из разрыва между просветительскими идеалами и реальностью полуколониальной раздробленности.

Сопоставление русского и китайского литературного опыта демонстрирует устойчивую типологическую близость в функционировании образа «лишнего человека», при одновременной глубокой культурно-исторической обусловленности его конкретных проявлений. Сходство двух традиций прослеживается на структурном и функциональном уровнях. В обоих случаях типаж возникает в периоды институциональной ломки и выступает литературным диагностиком социальных катаклизмов. От последекабристского вакуума в России до отмены имперских экзаменов и интеллектуального движения 4 мая в Китае, «лишний человек» фиксирует разрыв между расширенным сознанием личности и суженным пространством её исторической реализации. Эта базовая диспропорция порождает сходные адаптивные стратегии: от эстетического дистанцирования и самоиронии XIX века к практике «внутренней эмиграции» в условиях идеологического монополизма XX века, и далее к экзистенциальному кризису или «тихому сопротивлению» в цифровую эпоху. В обеих литературах образ последовательно эволюционирует от интеллектуальной рефлексии к политически маркированной маргинальности, а затем к феномену информационной и смысловой избыточности.

Вместе с тем, различия в культурных кодах и исторических траекториях определяют устойчивую специфику каждой модели. Русский «лишний человек» укоренён в дворянской среде и несёт в себе печать индивидуализма, философского скепсиса и эстетической автономии, его драма чаще экзистенциальна, а отчуждение реализуется через рефлекссию или художественный жест. Китайский «лишний человек», напротив, сформирован в контексте конфуцианского этоса коллективной ответственности и кризиса института чиновничества, его «ненужность» окрашена чувством национальной вины и просветительского разочарования, а отчуждение воспринимается как социально-политическая невключённость, требующая либо мобилизации, либо исторического искупления. В XX веке советский контекст трансформировал русского «лишнего» в фигуру идеологического несогласия, тогда как китайский аналог прошёл через прямые идеологические чистки, став носителем коллективной травмы и поисков идентичности в условиях рыночных реформ. В XXI веке различия усиливаются: в России типаж растворяется в исторической эпохе, тогда как в Китае он обретает новую социальную остроту в феномене поколения 躺平 (tang ping), где «избыточность» становится сознательным отказом от гиперконкуренции в условиях государственного капитализма.

Заключение. Таким образом, сравнительный анализ подтверждает двойственную природу феномена: будучи типологически сходным как литературный механизм фиксации модернизационных кризисов, «лишний человек» сохраняет глубокую культурную специфику, определяемую историческим опытом, этическими традициями и характером социальных трансформаций. Именно эта диалектика универсального и локального позволяет рассматривать образ не как застывший штамп, а как динамическую матрицу, последовательно отражающую логику исторических разломов в обеих культурах.

Проведённый анализ позволяет утверждать, что феномен «лишнего человека» функционирует в русской и китайской литературах не как застывший типаж, а как динамический диагностический механизм, чутко реагирующий на смену исторических реалий. Сквозь призму трёх столетий прослеживается устойчивая типологическая закономерность: образ неизменно возникает в точках институционально-

го и ценностного разлома, фиксируя разрыв между расширенным сознанием личности и суженным пространством её социальной реализации [2, с. 206], [3, с. 399]. При этом культурно-историческая специфика наполняет эту матрицу разным содержанием. В русской традиции отчуждение чаще приобретает экзистенциальный и эстетически автономный характер, эволюционируя от дворянской рефлексии XIX века к стратегии идеологического несогласия и «внутренней эмиграции» в XX столетии, а затем растворяясь в постмодерной симуляции и цифровой фрагментации современности. Китайский «лишний» человек, укоренённый в конфуцианской традиции коллективной ответственности, последовательно трансформируется от просветительского разочарования интеллигенции начала XX века к носителю исторической травмы тоталитарного периода и, наконец, к фигуре сознательного протеста в условиях гиперконкуренции.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

- 1 Белинский В. Г. Евгений Онегин. Сочинение Александра Пушкина / В. Г. Белинский // Полное собрание сочинений : в 13 т. – М. : Изд-во АН СССР, 1953. – Т. 6. – С. 389–467.
- 2 Гинзбург Л. Я. О психологической прозе / Л. Я. Гинзбург // О психологической прозе. – Л. : Сов. писатель. Ленингр. отд-ние, 1977. – С. 144–206.
- 3 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре : быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX в.) / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство-СПб, 1994. – 399 с.
- 4 Писарев Д. И. Реалисты / Д. И. Писарев // Сочинения : в 4 т. – М. : Худож. лит., 1955. – Т. 3. – С. 5–92.

THE SUPERFLUOUS MAN IN RUSSIAN AND CHINESE LITERATURE: THE EVOLUTION OF THE IMAGE

M.A. Zarakovskaya

*Vitebsk State University named after P.M. Masherov
Republic of Belarus, zarakovskaya7@gmail.com*

This article examines the diachronic evolution of the literary character of the "superfluous man" in Russian and Chinese prose of the 19th–21st centuries in the context of large-scale social and cultural transformations. Using classical and contemporary works, it traces the changing artistic function of the image.

Keywords: "superfluous man"; comparative analysis; literary typology; cultural adaptation; Russian literature; Chinese culture; evolution of the hero.